Наталья ГВЕЛЕСИАНИ

**Четвёртое измерение Марины Цветаевой**

Она была каким-то Божьим ребенком в мире людей.
И этот мир ее своими углами резал и ранил.
Роман Гуль

Слово о детстве Поэта

Предисловие

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.

Всем, наверное, знакомы эти строки?
Ведь в какой-то мере они обращены и к нам, что станет
понятней из дальнейшего изложения.

Эта концепция сложилась у меня еще тогда, когда только начала знакомиться с творчеством Марины Цветаевой — она легла в основу моего эссе «Детская экзистенция», написанного в соавторстве с Ольгой Крулевой, где личностный подход Цветаевой рассматривался как один из частных аспектов некого явления. И только потом, несколько лет спустя, я стала углубляться в проблему и узнала, что думают о Марине Цветаевой другие — профессионалы и любители. Я узнала самые разнообразные версии о том, кем была Марина Цветаева в жизни. Все они сводятся примерно к следующему. Марина Цветаева была:

1. Поэтом предельной искренности и правды чувств. Ярчайшей солярной личностью. Человеком — Солнцем.
2. Лукавой поэтессой — гордячкой, создавшей о себе миф и сама в него поверившей.
3. Двоедушной демонической личностью — оборотнем.
4. Вздорной, истеричной бабой.
5. Практичной меркантильной дамой.
6. Несчастным, никем не любимым ребенком, который тщетно пытался стать всем матерью.
7. Несчастной, никем не любимой женщиной.
8. Вечным подростком — бунтарем.
9. Маленькой девочкой неловкою.
10. В глубине души — мальчиком.
11. Андрогинном, сочетавшим в себе женское и мужское начала.
12. Поэтом — мистиком, поэтом — философом.
13. Просто человеком, недостойным своего великого дара.

На этом фоне моя версия выглядит столь же убедительной...
Наверное, никто теперь так никогда и не узнает, кем была на самом деле Марина Цветаева. Но она добилась кое-чего из того, что хотела. По одному из ее мнений, важен не пишущий, а читающий. И каждый, глядя в это Зеркало, наверное, видит что-то свое, какую-то свою тему. Но каждому почти физически хочется вступить в Зазеркалье... Вот и я увидела свое.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
БЕЛАЯ СОБАКА

Что же мне делать, слепцу и пасынку
В мире, где наичернейший — сер,
Где вдохновенье, хранят как в термосе,
С этой безмерностью в мире мер?!
                              М. Цветаева

У стойки кафе, глядя на красующегося бельомма — хозяина... Я внезапно осознала, что я всю жизнь прожила за границей, абсолютно — отъединенная — за границей чужой жизни — зрителем: любопытствующим (не очень!), сочувствующим и уступчивым — и никогда не принятым в чужую жизнь — что я ничего не чувствую, как они, и они — ничего — как я — и, что главнее чувств — у нас были абсолютно разные двигатели, что то, что для них является двигателем — для меня просто не существует — и наоборот (и какое наоборот!).
                               М. Цветаева. Неизданное. Сводные тетради.

В автобиографической прозе Марины Цветаевой, к которой она обратилась в последние годы, самые проникновенные страницы посвящены детству. Более того — детство и является той стихией, из которой сотканы ее стихи. Стихией потому, что детство у Цветаевой — это не место и не время, а способ существования души — единственного подлинного отечества на Земле. Это — ее четвертое измерение. «Цветаева неоднократно утверждала, что все, что ей нужно познать, она познала «до семи лет», а дальше только училась это понимать», — пишет литературовед Г. Горчаков. В двух первых сборниках стихов она явно декларирует свое нежелание взрослеть. Однако исследователи больше интересуются чисто биографической составляющей. «Основной спор — «спор о детстве» — между исследователями происходит на уровне признания достоверности тех или иных фактов», — пишет тот же Г. Горчаков и указывает, что только В. Швейцер вносит новую ноту в этот спор предположением о том, что Цветаева писала не мемуары о своем детстве, а исследовала «феномен ребенка, обреченного стать поэтом», что трагическое мироощущение, которым проникнуто цветаевское детство, заложено в поэтах генетически. (Уточнит — не во всех поэтах, а в «поэтах без истории»: «О поэтах без истории можно сказать, что их душа и личность сложились еще в утробе матери... Они уже все знают отродясь... Они пришли в мир не узнавать, а сказать» (М. Цветаева «Поэты с историей и поэты без истории»). «Вовлекаясь все более и более в этот спор о детстве — резюмирует Г. Горчаков, — исследователи допускают полную непоследовательность, они по сути идут по кругу — вначале опровергают друг друга, а затем повторяют сами то, что опровергли».

На мой взгляд, все исследователи, в том числе и Г. Горчаков, видящий, как и многие другие, истоки цветаевского трагизма в ее детских обидах, упустили кое-что важное — может быть, самое важное в феномене Марины Цветаевой.

Попробую прояснить это с привлечением несколько эклектичного материала, непривычного для строгого литературоведения.

Мне кажется — редко кто из серьезных исследователей отмечает это — что у Марины Цветаевой было четвертое измерение в буквальном, а не аллегорическом значении, что соль поэзии Цветаевой, да и всей ее трагической жизни — в утверждении беспредельно чистого восприятия, в непримиримо-яростном выгораживании пространства для той детской правды, которая не удовлетворяется привязанностью ни к кому и ни к чему, ибо таинственно полна памятью о Высшем.

"Вотще рвалась душа моя!" — эта строка пушкинского "К морю" любима поэтессой до самозабвения. Цветаевское признание — как крик: "Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда вотще, туда, то, как начинает становиться лицом, с носом, глазами, а в моем детстве и в пенсне, и с усами... И как мы люто ошибаемся, называя это — тем, и как не ошибались — тогда!" Психея (душа) противопоставлена в ее поэтическом мире Еве (плоти) совсем не по случайным, психофизиологическим мотивом, как иногда полагают ультрасовременные интерпретаторы.

Восхищенной и восхищенной,
Сны видящей средь бела дня,
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной.

Отсюда в ошеломительно новом свете открывается так многих сбивающая с толку любвеобильность Цветаевой, ее страстное желание ворваться в судьбу каждого встречного (зачастую младшего по возрасту и сироте по духу) и раскрыть, выпестовать в нем «бьющим из сердца материнством, уст дочерство пьющих» («Федра») божественного Ребенка —

В тебе божественного мальчика
Десятилетнего я чту ...
                         («Ты запрокидываешь голову...»).

«Да, да, я их всех на так немного меня младших или вовсе ровесников чувствовала сыновьями... я помнить начала с тех пор, как начала жить, а помнить — стареть, и я, несмотря на бьющую молодость, была стара, стара, как скала, не помнящая когда началась», — скажет она, вспоминая студийцев-вахтагонцев, в самой, наверное, сокровенной своей вещи — «Повести о Сонечке».
Сонечка — это реальное лицо и в то же время частичка Софии Премудрости Божьей. Через нее осуществляется единение Марины с заоблачно-рыцарственным Володей, связанного незримыми узами с Христом, которого нигде не называют по имени, как незримо присутствующего, — все происходит недалеко от Храма Христа Спасителя. Цветаева прекрасно была в курсе поисков русских философов Серебряного века и поэтов-символистов, но переосмысляла все по-своему, с помощью личной мифологии, так свойственной маленьким детям, придавая большое значение случайностям, за которыми видела знаки судьбы. Среди взрослых недаром все время крутится маленькая Аля — дочь Цветаевой и ее второе «я», — которая тоже все видит по-своему и ведет дневник. Правда, из повести начисто выпал «быт» — другая сторона цветаевских взаимоотношений со своим вторым «я». Но об этом — потом. Интересно и то, что в повести нет почти ни слова о революции, которая грохочет в те годы снаружи — революцией Цветаева уже переболела с 12-ти до 16-ти лет.

Отмечу пока важную деталь, которую раскрою позже — глубинное, подлинное детство, в отличие от плотско-природного, сродни старости как синониму мудрости и, как следствие, многопечалию.

«Творчество — это сотрудничество с высшими силами», — писала Цветаева. На внешнем плане знающая Цветаева подспудно дает своим избранникам, равно как и читателям, «уроки» в форме исповеди — стихотворной ли, эпистолярной ли — и, страшно волнуясь, потому что предчувствует роковое несовпадение регистров, ждет отдачи в виде пламенного рождения души. («Если душа родилась крылатой, что ей хоромы и что ей хаты...»). При этом она, по всей видимости, в глубине души прекрасно осознает свою миссию учителя, гуру (как сказали бы теперь) — и, как минимум, с ранней юности. «Мне жаль, что я не знала вас маленьким. Каким вы были? — пишет 16-тилетняя Марина Пете Юркевичу, от которого она уже не ждет взаимности, так как уже получила от него вежливую «онегинскую» отповедь. — Я чувствую в себе бесконечный восторг перед каждым облачком, каждым заревом, поворотом дороги. И вот, Петя, мне бы хотелось и вам передать свою сладкую способность волноваться. Мне хотелось бы, чтобы Вы, благодаря мне, пережили многое — и не забыли его. Верьте и доверьтесь мне... Ни один человек, встретившийся со мной, не должен уйти от меня с пустыми руками. У меня так бесконечно много всего. Умейте только брать, выбирать». («Письма к П. Юркевичу»).
Позже этот мотив выльется в щемяще-величественные строки:

К вам всем — что мне ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
                       («Уж сколько их сорвалось в эту бездну...»)

И это не юношеская восторженность и не романтизм — привычно понятый романтизм. О необычности Цветаевой свидетельствует хотя бы уже то, что она еще в 1908 г., в 16 лет предрекает победу социализма и то, что с ним потом произойдет:

«Идти против — вот мой девиз! Против чего? спросите Вы. Против язычества во времена первых христиан, против католичества, когда оно сделалось государственной религией и опошлилось в лице его жадных, развратных, низких служителей, против республики за Наполеона, против Наполеона за республику, против капитализма во имя социализма (нет, не во имя его, а за мечту, свою мечту, прикрываясь социализмом), против социализма, когда он будет претворен в жизнь, против, против, против!» («Письма к П. Юркевичу»).

Это своеобразное кредо анархиста — лишь одно из развернутых знамен ее любимого девиза «Против течения», которому она не изменит никогда и в котором свернуто еще многое, очень многое. «Нужно быть вечно на страже, как бы не свихнуться», подобно всем остальным — это ведь еще Пете Юркевичу сказано. И — в другом месте: «Все зависит не от нас, желающих чего-нибудь, а от нас, всегда чувствующих себя, ощущающих каждое биение своего сердца».

Замечательно реконструировала мировоззрение зрелой Цветаевой, с лежащим в его основе делением на существенное и вещественное, «собрав» его по крупицам из разных писем и записей, И. Кудрова. Помимо сидения в кафе, хождения по политическим и литературным собраниям и выставкам, «к суете, уводящей от существенного, она относит еще и деньги, войны, спорт, идеи, открытия, моду, общественную жизнь», деловую жизнь, «мужскую жизнь», зрелища, литературные течения, футбол, конгрессы — и даже лекции Бердяева!.. Есть, правда, в ее рассуждениях важная оговорка: все перечисленное «уводит» ... если оно не получило преображения в мире души — «ибо тогда: вода — не вода — и земля — не земля».

«Бог дал Вам великий покой затвора, — пишет Цветаева Анатолию Штейгеру, — сам очистил Вашу дорогу от суеты, оставив только насущное: природу, одиночество, творчество, мысль...». («Письма к А. Штейгеру)

«В сущности, ее мир — это мир Вечного во временном», — говорит о поэте И. Кудрова.

Жажда, чтобы ее любили — это ведь жажда, чтобы себя любили — свою бессмертную душу и постигали ее через проекцию на самые разнообразные предметы. «Чтобы "Марина" — значило — мир, а не мир "Марина"». («Письма к А. Бахраху»). Чтобы были в сем сомнительном мире «вероломны», то есть — «сами себе верны».

Никто в наших письмах роясь
Не понял до глубины
Как мы вероломны,
То есть — как сами себе верны.

А раз ее не полюбили, значит и себя не полюбили, не поняли... Не разглядели свою глубинную суть, свой собственный путь во Все: «Если мне, через свою живую душу, удастся провести вас в Душу, через себя — во Все, я буду счастлива. Ведь Все — это мой дом, я сама туда иду, ведь я для себя — полустанок, я сама из себя рвусь!». («Письма к А. Бахраху»).

В разных местах писем к П. Юркевичу читаем: «Тоска — мое обычное состояние». «Порой мне бывает страшно и откуда-то со дна всплывает что-то темное». Что же так гложет юную гимназистку, которая ждет революции и со скукой готовится к экзаменам по плохо дающимся ей алгебре и химии? Ведь это только на первый взгляд может показаться, что все дело в людях, к которым она не хочет «лезть за участием», «а сами они приласкать не догадаются». «Внешние неудачи, домашние скандалы, разные сплетни — ерунда, вот уж что меня не огорчает, а «вопросы» разные — мое горе. Хочется понять жизнь». Например, «однажды небо совсем померкло, а при свете луны поля сделались какие-то странные, грезящие, холодные. Вся оторванность человека от природы вдруг ярко стала мне понятна. И вышло так: люди — чужие, природа — чужая, далекая».

«Кто мы, откуда мы, куда мы идем?» — наверное, Цветаева бы подписалась под этими словами Гогена. Мучительная глубина вглядывания в неразрешимую загадку бытия то и дело проглядывает за быстро проносящимися полудетскими, наивными мечтами о революции и вечно яркой жизни, полной незабываемых впечатлений. И — тут же — еще более горькое признание: «Как бы вам объяснить получше, почему мне там трудно жить. Видите ли, я сознаю свою полную непригодность для жизни».

Цветаева — живой человек и искренняя, теплая атмосфера необходима ей, как воздух. А этого почти нигде нет. Люди — как стены. «Тело другого человека — это стена, она мешает видеть его душу», — запишет она четыре года спустя. А пока — Юркевичу: «Я думала над тем, почему люди так одиноки. Ведь это же ужас, подумайте, это же проклятие. И ведь никогда люди, даже самые, самые близкие, не могут знать, что происходит в душе друг друга. Вот я говорю с Вами... и никогда не знаю, серьезно ли Вы говорите или шутя, не могу поручиться за то, что Вы понимаете мое настроение...».

Сами по себе земные радости — вне контекста конкретных человеческих отношений — поначалу не вызывают у нее аскетического желания отгородиться. Это потом ей предстоит пройти по всем кругам ада слишком человеческой любви и убедиться в ее иллюзорности, понятой еще до. «Я не боюсь пошлости, потому что знаю, что ее во мне нет», («Письма к П. Юркевичу). Пошлость — это когда таинства рождения в горнем мире чего-то Третьего так и не происходит. И тогда даже жаркая счастливая взаимность оборачивается — все в этом мире состоит из перевертышей! — невзаимностью, «тупиком»: «Точно двое друг в друга уперлись — и все стоит». («Сводные тетради»). И тогда — Разрыв... Причем, не по ее вине. «И кто-то нас друг к другу бросил, И кто-то снова оторвет», — писал поэт Иннокентий Анненский. А еще потому, что любовь по горизонтали неизбежно вырождается. Несбывшаяся счастливая любовь пушкинской Татьяны Лариной превращается в сбывшуюся счастливую любовь Анны Карениной, от которой хочется лечь на рельсы.

Литературоведы, которые, как Н. Доля, осуждают Цветаеву за то, что она предпочитала в отношениях роль Татьяны якобы для того, чтобы вечно терзаться и мучиться, то есть вечно наслаждаться невозможной, полной протеста и прихотей, страстной любовью, даже не подозревают, насколько в жизни Цветаевой, как и в действительном мире, все обстоит наоборот! Для Цветаевой-Татьяны неприемлема как раз страстная любовь — это за ней она отказывается признавать подлинность. Митрополит Иерофей Влахос пишет, что «для людей Божьих то, что мир называет естественным, является противоестественным, а так называемое вышеестественное переживается ими как естественное».

И все это у Цветаевой — так естественно, органично, без выведенного на поверхность мистицизма и мудрствований о Мировой Душе. Органично — значит, по определению, трагично, противоречиво, поскольку трагично и противоречиво в сем странном мире положение «пленного духа» и открытой, щедрой по природе души, замкнутой в непробиваемых стенах чужих личных пространств.

Любовь к ближнему снова и снова заменяется в ее судьбе на любовь к дальнему, которого вечно нет рядом, вроде нас с вами, грядущих читателей («Моему читателю — через сто лет») или кому-то вроде заочного — через столетие! — возлюбленного — герцога Рейхштадского, умершего век назад, на чей портрет 9-летнего «сломленного жизнью гениального ребенка» («Письма к П. Юркевичу») 16-летняя Марина едва ли не молилась («Это любовь? Я сама не знаю. Я бы теперь сказала — это жажда ласки, участия, жажда самой приласкать. Но сравниваю я свое чувство к Наполеону второму с своей любовью к Вам — и удивляюсь огромной их разнице» («Письма к П. Юркевичу»). И все это — чтобы раздвинуть пределы и парадоксальным образом прийти к тому же ближнему, но уже — со стороны духа. «Ухожу от вас, возлюбленные братья, чтобы вернуться к вам, — так, примерно, говорил кто-то из св. отцов — пустынников, удаляясь в затвор, — ухожу телом, прихожу духом». Все это Цветаева знает отнюдь не из их писаний.

Во многих религиозно-философских текстах прослеживается мысль о том, что люди, которые умеют жить здесь и сейчас — это святые и дети, при том, что святые — это те же вчерашние дети, только вновь умалившиеся. («Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное» (Евг. от Мф — 18:3).

Все остальные трагически блуждают в поисках утерянного рая, а многие, впрочем, даже не помнят, что когда-то там были и, свыкшись с нынешним заурядным положением, даже находят в нем болезненную усладу.

"Да, что знаешь в детстве — знаешь на всю жизнь, но и: чего не знаешь в детстве — не знаешь на всю жизнь" — так определила Марина Цветаева божественную детсткость души — через органическую связь с неким пра-знанием, про-зрением. То есть живым знанием, которое теплится в человеке до тех пор, пока его не утрамбовали знанием мертвым — заблудше-взрослым, якобы общезначимым. «Детство — пора слепой правды, юношество — зрячей ошибки, иллюзии, — напишет Цветаева в очерке «Наталья Гончарова». «История моих правд — вот детство. История моих ошибок — вот юность. Обе ценны, первая как Бог и я, вторая как я и мир».

Описывая в эссе "Мой Пушкин" свое детское мировосприятие, Цветаева вводит такое образное измерение как здесь и завтра.

Завтра — это и есть то самое сейчас, но далеко не сиюминутное, не обыденное. Не показатель времени, приуроченный к фотографической копии вещей, а скорее таинственный свет души, проникающий сквозь вещи-как-фотографии к вещам-как-они-есть-сами-в-себе.

Вот маленькая поэтесса едет в поезде к морю, видом которого она — в скором будущем — будет на всю жизнь разочарована.
"Море было здесь, и завтра я его увижу... Здесь и завтра. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру.
Море здесь, но я не знаю, где, а так как я его не вижу — то оно совсем везде, нет места, где его нет, я просто в нем...
Это был самый великий канун моей жизни.
Море — здесь, и его — нет".

Образ, так чудно выношенный в детском воображении под впечатлением пушкинского стихотворения, оказался объемней, богаче реального объекта. Поэтесса с грустью признается: "Моря я с той первой встречи никогда не полюбила, я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него, собирать камешки и в нем плескаться — точь-в-точь как юноша, мечтающий о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем".

Заблудший мир — плохой поводырь. Он водит юные души лишь одной дорогой — дорогой разочарований. Вот, взятый из Цветаевой же образец одного из таких жизненных отрезков на все том же пути к Морю:

"—Ася! Муся! Глядите! Море!
—Где? Где?
—Да — вот!
Вот — частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу — плоская серая, белая вода, водица, которой так же мало, как... на картине явления Христа народу. Это — море? И, переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем.
Но — мать объяснила, и мы поверили: это Гэнуэзский залив, а когда Гэнуэзский залив — всегда так. То море — завтра.
Но завтра и много, много завтр опять не оказалось моря, оказался отвес гэнуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы, с такой тесноты домами, что море, если и было бы — отступило бы..."

Дорога разочарований... Человек только ею приходит в мир. Только так в него входим. Когда, появившись на свет, он видит разлитого повсюду Бога, ему указывают на мать и отца, словно боги — они, а когда у него высыхают слезы первого разочарования, то это обычно означает, что он к тем богам приспособился, а от своей божественной сыновности — отступил. Мир всегда указывает пальцем на что-то меньшее, называя это большим. И детская память, не выдержав столкновения с массовым авторитетом богов, в конце концов уступает свое великое знание. Врожденные структуры сознания, отвечающие за цельное, целостное мировосприятие, приходят в упадок, деформируются. В "жизнь" вступает еще один стандартный шизофреник, то есть субъект, пытающийся судить о целом по его жалким частям. Способный судить, но не чувствовать. Оперировать понятиями, но не видеть за ними надмирной сути. Исступленно искать любви и никогда не иметь ее в себе...

Человек словно обречен пожизненно принимать нечто меньшее за большее и, больно ударившись об это меньшее, думать, что это — предел.

Большинство из свернувших — свернувших с самого истока — заканчивают свои дни в бесцветной обыденщине. Многие становятся обитателями психиатрических больниц. И лишь некоторые, почуяв подвох, рискуют двигаться дальше через движение вспять. Назад! — к истокам! — в морскую раковину! И оттуда — снова в мир, где "я" и "Бог" — единство, а неразделенность.

"Утром по дороге к морю, Валерия:
—Чувствуешь как пахнет? Отсюда — пахнет!
Еще бы не чувствовать! Отсюда пахнет, и повсюду пахнет, но в том-то и дело, что не узнаю: свободная стихия так не пахла, и синяя открытка так не пахла.
Настораживаюсь". (М.Цветаева. "Мой Пушкин").

Опыт прорыва за пределы ведом в первую очередь монахам, во вторую — «поэтам без истории, которые все знают отродясь», но более всего, на мой взгляд, — бродягам Дхармы. Это символичное название, данное Джеком Керуаком в своем известном романе поколению первых битников — предшественников хиппи, как нельзя лучше указывает на родственную связь с пушкинско-цветаевским "вотще". Бродяга — странник. Дхарма — путь Освобождения.

Бродяги Дхармы — это те же монахи и те же поэты, но только в одном лице. От классических монахов (но не Монахов ) они отличаются непринужденностью и самоиронией, а также тем, что, живя среди мира, редко следуют путем какой-либо одной, навязанной воспитанием религии, а предаваясь искусству, предпочитают незатейливость стиля — чем и отличаются от профессиональных поэтов.

Профессиональные труженики на ниве культуры часто принимают их за дилетантов, священнослужители — за одержимых, родственники — за блудных сынов, общество же в целом — за пустоцвет, то есть цветы, которые никогда не приносят плодов.

Среди этих людей тоже встречаются сорвавшиеся в бездну (болезнь)... И тем не менее даже такой — сорвавшийся — первопроходец, и в поэзии, близкой к молодежной культуре, такому герою воздается осанна:

она умерла оттого, что хотела любви без меры и без предела,
она упала оттого, что летела, и тело её уже не тело,
она замолчала оттого, что не пела, а говорить она не умела,
(Ольга Арефьева "Она сделала шаг")

В наше замешанное на тотальном скепсисе время с постмодернистским отрицанием вектора в Трансцендентное, вечно юное это племя упорно держится за свой кратчайший путь к истине — не быть как все, не стремиться к предложенному стандарту. Понимая, что стандарт этот — нечто искусственно введенное и по сути абсурдное (при реализации этого стандарта и без того в неблагоприятных условиях жизни):

"К сорока годам у Барби появились: жених, сотовый телефон, инвалидное кресло, квартира.
И У МЕНЯ, И У МЕНЯ: жених в инвалидном кресле, квартира в нежилом доме, и телефон... по которому мне никто почти не звонит..."
(Наталья Медведева).

Не делать лишних движений!.. Испытывать природное отвращение к этому всеобщему "И у меня!". Откуда берется столь нелогичное стремление души, как и чем удерживается вопреки сопротивлению среды?

Ответ напрашивается сам собой — берется из детской памяти. Ею же и удерживается.

Рассказы людей, так или иначе соприкоснувшихся с хиппизмом, — а такие люди помнят свое детство дольше и ярче других, нередко с первых недель младенчества — свидетельствуют об удивительной вселенной — она воистину альтернативна нашей — всеобщей — плоскости.

Наряду со всем нам памятными живостью, полнокровием и красочностью внешнего мира в раннем детстве, непринужденные взрослые с долгой памятью отмечают его глубину и неоднозначность. Так, некоторые, помнящие себя с годовалого возраста, рассказывают, что окружающие казались им наивными, несмышлеными и неумными, они все делали не в такт с тем страшным величием, которое неприкрыто таилось, подобно буре, за стенами их мнимой стабильности.

Слово такт здесь имеет огромную смысловую нагрузку. Именно благодаря такту семилетняя Цветаева так не смогла рассказать батюшке на исповеди про свои сны с похожим на дога чертом: «Есть одно: его часто — нет, но когда оно есть, оно, якобы вторичное, сильнее всего первичного: страха, страсти и даже смерти: такт. Пугать батюшку чертом, смешить догом и огорошивать балериной было не-прилично. Неприлично же, для батюшки, все, что непривычно. На исповеди я должна быть как все». («Черт»).

«Огорошивать балериной» означало рассказывать батюшке уж и вовсе неприличное: «Но и раскаяния не было. Было — одиночество с тайной. То же одиночество с все той же тайной. То же одиночество, как во время бесконечных обеден в холодильнике храма Христа Спасителя, когда я, запрокинув голову в купол на страшного Бога, явственно и двойственно чувствовала и видела себя — уже отделяющейся от блистательного пола, уже пролетающей — гребя, как собаки плавают — над самыми головами молящихся и даже их — ногами, руками — задевая — и дальше, выше — стойком теперь! как рыбы плавают! — и вот уже в розовой Цветочной юбочке балерины — под самым куполом — порхаю». («Черт»)

От страшного таинственного величия, которое у досемилетней Цветаевой олицетворялось в «бесцветных, безразличных и беспощадных» глазах игрушечного черта, люди могли защитить таких экзистенциальных детей только за своими призрачными стенами. Но надо было как-то выживать и им тоже пришлось укрыться в предложенной реальности, хотя люди раздражали их уже своим отношением к природе, а некоторые даже доводили до бешенства издевательствами над бездомными животными. Одна девушка рассказывала, что родители даже застали ее вкушающей на четвереньках пищу из одной миски с кошкой. Жизнь их в этом внешнем мире была какая-то полусонная, походила скорее на фотографию былого. Былое просачивалось в тогдашнюю память проблесками сияния, наполнявшего душу то теплом и спокойствием, то страхом и трепетом. Порой возникали необычные видения, чаще всего пугающие.

Психолог Эрих Берн заметил в одной из своих работ, что младенцы, по-видимому, целиком пребывают в стихии чистой поэзии. (Сравним с цветаевским: «Идите в... детство, если можете — в младенчество. Там — корни» («Наталья Гончарова»).

В устах психологов это не положительный момент, а констатация факта, вытекающего из отсутствия у новорожденных жизненного опыта и абстрактного мышления. В фрейдистском толковании мир младенческих грез и переживаний — это концентрированное либидо, эквивалент бессознательного в его несублимированом виде.

Такого рода указатели — либидо вместо стихия — еще одно массовое — под прикрытием науки — отступление от того, что мы так романтично назвали божественной сыновностью. Постмодернистское перекодирование культуры, освобождая сознание от многих ложных мифов — политических, научных, культурно-религиозных — выплескивает, однако, вместе с водами и ребенка. В органической поэзии детей несомненно содержится жизненная сила (Эрос, либидо), но разве содержание исчерпывается силой? Что заставляет младенца выделять, включая в свою личность из познаваемого им мира людей то, что созвучно его поэтической среде, а от несозвучного — с отвращением отворачиваться?

Не имея мыслей и слов, младенец, по-видимому, способен охватить все то, что в дальнейшем выпадает из поля зрения под влиянием страха, авторитета, необходимости познавать среду непосредственного обитания, приобретать умения и навыки. Поэзия его отнюдь не сентиментальна, она символична, глубинно-мифологична и глубоко экзистенциальна.

Почему поэзия? Потому что стихия. Стихия обнаженной души. Вывернутая наизнанку Раковина в безбрежном океане Вселенной. Раскрытая в Океан Раковина — загадочна и бездонна. Но Раковина, став Каплей по неизвестным нам причинам, должна выделиться из Океана, а не раствориться в нем.

Какое мужество должно быть у ребенка, чтобы удержаться на вечно колеблемых волнах! И кто из нынешних смертных может стать ему опорой?!

Диалектика развития такова, что ребенок может выжить, только обретя панцирь из умений и навыков, соответствующих обществу, в которое его забросила данность, соответствующих общественному, а не детскому способу познания. И в тоже время панцирь, сколоченный в процессе забвения и самозабвения — верный способ умереть, если, повзрослев, человек не предпримет деятельной попытки вырваться из своей временной крепости.

Его шансы тем больше, чем тоньше было в его детстве общественное сознание с идеями, которые носятся в воздухе и которые ребенок схватывает на лету без мыслей и слов остатками непрерывно разрушаемых здравых структур. И если педагогика отстает, — а практическая педагогика всегда отстает не столько в способах подачи этих идей, сколько в умении гениально их схватить цельным детским восприятием, — то это значит, что человек, не веря ей, двигался вслепую.

Движение вслепую, увы, очень часто — наилучший выход.

Остро чувствуя топорность любых воспитательных подходов, Лев Толстой даже призывал в своих педагогических статьях вовсе отказаться от попыток указывать молодому поколению какое-либо направление, в первую очередь потому, что осознавал всех стоящими на бездорожье. Цель образования вне отвергнутых им задач воспитания сводилась к простому уравниванию знаний между учителем и учеником, причем последний имел полное право перенимать лишь те знания, которые соответствовали его индивидуальной природе, а от тех, которые ее калечили — закрываться.

Очевидно, Толстой имел в виду неподавленного изначального Ребенка, который, пребывая вне принятых в обществе преходяще-косных критериев добра и зла, интуитивно способен удержать свою подлинность. Но проблема в том, что "отпадение" ребенка в больном обществе — процесс очень ранний, закономерный и трагически-неизбежный. Осознав это, Толстой в дальнейшем отошел от педагогики и углубился в религиозно-нравственную проблематику, отказавшись заодно от художественного творчества в духе классического реализма. Интуитивно Толстой прощупывал пути к глубинному реализму, но спотыкался о собственные рационалистические конструкции.

Впрочем, тенденция к глубинному реализму, как и Достоевскому, была ему свойственна всегда, — особенно в эпопее «Война и мир».

Касаемо непосредственного восприятия действительности ребенком, приведем несколько примеров.

Один наш знакомый вспоминал о своем школьном "недопонимании":

Получив контрольную работу, он "долго медлил, тупил над заданием". К примеру, предлагалось порассуждать над таким определением из учебника, как "Общество — это часть материального мира". При попытке обосновать его своими словами с привлечением полученных ранее знаний, мальчик впадал в недоумение, во-первых, уже от убогой пресности формулировки. Образы, связи, ассоциации, которые проносились в его голове, большей частью бессловесно, никак не складывались в столь одностороннюю картину. А между тем контрольное время подходило к концу.

С высоты теперешнего опыта он говорит, что если бы кто-то дал ему тогда понять, что у понятия "общество" есть множество формулировок, что знания об обществе не исчерпываются формулировками, он, вероятно, вовремя выработал бы, наряду с общим взглядом с высоты по-детски незащищенного полета, другой — узкоспециализированый подход к решению конкретно-ограниченого участка проблемы. На наш вопрос: "Но разве кто-то акцентировал твое внимание на однозначности? Разве разноплановость не прорисовывается логично в курсе школьных предметов?" — собеседник отвечает:

"В школьном преподавании наук нам не хватало чего-то, что обеспечивало бы их синтетическое восприятие. Это что-то можно назвать философией наук. Теорией теорий. Без этого связующего центра все распадалось на неприменимые к жизни знания, точнее, вроде бы наоборот применимые, но непонятно зачем. Ребенок ведь не хочет знаний затем, чтобы получше устроиться в жизни. Он хочет понимать жизнь, понимать, зачем все это? Не задумываясь, он подсознательно воспринимает как свое, кровное лишь то, что согласуется с высшими законами жизни".
Подобную же ситуацию я встретила в статье К. Ф. Вайцзеккера (немецкого физика и философа, директора (1969-80) Института Макса Планка) "Физика и философия":

"Одна из основных трудностей, с которой я столкнулся, изучая физику, состояла в том, что слова и понятия, используемые людьми весьма эффективно при решении проблем, мне показались чрезвычайно сложными для понимания их значений, того, что в этих понятиях действительно стремились выразить. Поэтому, когда я узнал, что физики говорят о пространстве и времени, об энергии, о потенциальной энергии, о реальности, мне было трудно понять, что все это означает. С другой стороны, сначала я думал, что физики очень хорошо понимали их смысл поскольку могли хорошо использовать эти понятия. Но вскоре я обнаружил — во многих случаях знание физиков о способах приложения этих понятий объясняется просто тем, что они узнали об этом от своих учителей. Я обнаружил, что существовало общепринятое использование этих понятий без размышления об их смысле".

Узкая школьная специализация вне высших духовных вопросов, (на которые никто, быть может, не может ответить, но надо же их ставить со всей искренностью!), вносит раскол в детскую психику. Дети не увязывают то, что им преподают с практическим опытом, с внутренними своими запросами. И постепенно приучаются относится к школе как к досадной необходимости отнимать время у настоящей жизни, еще отчасти натуральной, полной невинных забав. Мертвое, не увязанное с индивидуальностью знание, только захламляет, заземляет, уродует личность.
Вот рассказ еще одного "умственно отсталого":

"Помню, как отталкивали меня не только уроки литературы, но и сама литература. Я в школьную пору совсем не читала книжек. Открыв учебник, скользила взглядом по какому-нибудь "салтыкову-щедрину" и — тут же захлопывала. Чувствовала, наверное, что автор не соответствует современности, глубинным ощущением жизни. Не чувствует еще одной ступеньки, на которую лучшие из нас поднялись. Точнее, наши учителя не чувствуют, что прошлому надо отдавать дань уважения, но не выжимки любви, которые они пытались из нас выдавить ложью восхищения. Зато, когда я случайно открыла страницу с "Преступлением и наказанием" — со мной случился настоящий культурный шок. Я впервые почувствовала сквозь буквы все — все: желтую пыль города, туман, одиночество, привкус депрессии. Это был мой класс! Я весь роман прочитала не отрываясь — до конца. Но прочувствовала — еще с одной странички, ею в книге могла стать любая. Как?! Наверное, мы с Достоевским шли вровень. Однако, учительница, словно не замечала основной проблематики романа. Напирая на набившие оскомину слова "тварь ли я дрожащая или право имею?", в то время как далее по тексту Раскольников сам говорит: "Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Слушай: Когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил... так и знай!". Раскольников не каялся перед народом — "В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Все это один призрак... они сами миллионы людей изводят, да еще за добродетель почитают... Так ведь они же сами надо мной смеяться будут, скажут: дурак что не взял, трус и дурак!" Раскольников ринулся от тоски "в возможность этого цельного, нового, полного ощущения". Он все хотел выпрыгнуть из своей действительности. Действительности более не внешней, а внутренней! Он все размышлял, как он будет смотреть на мир после своей внутренней перемены — "Вот и вывеска, как-то я тогда прочту эти самые буквы? Вот тут написано: "Таварищество", ну вот и запомнить это а, букву а, и посмотреть на нее через месяц, на это самое а: как-то я тогда посмотрю? Что-то я тогда буду ощущать и думать?" Раскольников совершал поступки ожидая, что они переменят его в процессе действия. Туманно надеялся совершить "квантовый скачок" подкрепив к текущим мыслям, радикальное и не свойственное ему (пусть и кажущееся рационально бесцельным) действие. Он не знал, да и не думал о том, куда идти; он знал одно: "Что все это надо кончить сегодня же, за один раз, сейчас же; что домой он иначе не воротится, потому что не хочет так жить". Чувство неправильности этого "так" — это и есть экзистенциальное чувство. Удивительно, или вернее — не удивительно, Достоевский сам выделил курсивом слова "тогда" и "попробовать". Но учительница, руководствующаяся вероятно, методическим указанием для учителей, расставила акценты на второстепенном."

Над чистым листом бумаги долго "тупят" лишь самые пытливые и бесхитростные. Как тут не вспомнить ненависть к гимназиям и ее неспособность долго в них удерживаться вроде бы никогда не «тупившей», с 6-ти лет писавшей стихи и с 10-ти — дневники Цветаевой и ее собственное признание, что она была «в детстве такая несообразительная, недогадливая» («Пушкин и Пугачев»). («Ибо сыны века сего догадливее сынов света в некотором роде». (Евг. от Лк, 16:8). А также учительскую подпись под первым французским сочинением: «Чрезмерное воображение и слишком мало логики», которую она не забыла и даже упомянула в анкете, присланной ей Пастернаком. Наводят на размышления и ее нелады с точными науками. Слово «точные» так и подмывает поставить в кавычки...

Над чистым листом бумаги «тупят» самые отчаянные.

Остальные с той или иной степенью легкости приучаются воспринимать, думать и отвечать по трафарету. Им не приходится рефлексировать над очевидными нестыковками взрослого мира, осуществлять каждый раз выбор не в пользу кратчайшего решения, а в пользу отсутствия явной пользы. Американская модель образования вконец делает ребенка приспособленцем, она преподносит ему трафарет на блюде в окружении пряников. В результате наши люди отстают от американцев в умении быстро проходить тесты на интеллект, но превосходят их в духовно-цельном и базово — теоретическом видении проблем. Скорость снижена за счет активации множества естественных связей, которыми обусловлено задание. Они вытекают далеко за пределы отдельно взятого задания.

Активация таких связей происходит на уровне подсознания, вначале — без мыслей и слов, что субъективно ощущается как пауза в мышлении, а перед экраном компьютера, где фиксируется время тестирования, ощущается — как интеллектуальный и моральный провал... Ходят исторические слухи, что результатом такого рода "тупежей" у юного Эйнштейна стала исподволь вызревшая теория относительности.

Но не все особо одаренные дети — а одарены они все — становятся счастливчиками, подобно Эйнштейну, Вайцзеккеру и др. На мой взгляд, некоторые случаи шизофрении — самого массового психического заболевания, в котором, по мнению психиатров, видны как в зеркале, в сгущенном виде многие аспекты душевного разлада современного homo sapiens, — можно рассматривать в свете нашей гипотезы утраченной целостности.

Для нас важна особенность шизофренического мышления, которая заключается в том, что больной осуществляет преждевременные обобщения там, где их не должно быть по законам здорового, не связанного с жизненным опытом смысла. Хотя формально — логически, вне связи с практической жизнью, такие обобщения возможны. Например, на вопрос: "Что объединяет между собой ножницы, катушку с нитками и наперсток?", больной отвечает, что во всех этих предметах содержатся круглые отверстия. Очевидное "предметы для шитья" странным образом ускользает из поля зрения либо оказывается на его периферии — в последнем случае опрашиваемый упоминает правильный ответ как один из вариантов. А ведь интеллектуальный уровень у незапущенных больных, в свете новейших научных подходов, как правило, не снижен.

Дело в том, что, оказавшись в раннем детстве между молотом и наковальней — между пугающе многослойной Вселенной с одной стороны и бегущей от нее плоскостью человеческой цивилизации — с другой, ребенок может подсознательно принять судьбоносное решение не входить в подсистему "Человечество", если в ней его что-нибудь радикально не устраивает, пугает. На практике осуществить подобное невозможно, он все равно войдет, но только наполовину, внешне, оставаясь бесчувственным к высшим смыслам чисто человеческого существования, пусть и системно ограниченным. Не зная глубинным чувством высшего человеческого смыслообразования, не пропитавшись его экзистенцией, он основательно запутывается с тем, что считается у людей частностями. И в конце концов, не увязав их ни с чем, смешивает частности в одну безразличную кучу, элементы которой он может группировать по любым, часто самым причудливым критериям, благо, что интеллект этому не препятствует.

По сравнению с замкнутой от Вселенной системой цивилизованного человечества — радикально протестуя против этой чисто человеческой замкнутости — он в силу своей недиалектичности сам становится... суперзамкнутой системой, равно от всех удаленной, бесконечно одинокой. Такие люди лишены социокультурного панциря и знают только два состояния: либо безусловную, мертвящую от всего отгороженность, либо столь же полную и непродуктивную распахнутость, когда Молот и Наковальня оказываются словно в центре их крохотного существа... У них словно нет себя, и поэтому в непознанном нет ничего, кроме страха.

Прирожденному Ребенку ведома иерархия, согласно которой человечество — лишь подсистема Вселенной, а Вселенная — подсистема некоего Центра, Источника, (Бога?), существом которого понизаны все уровни. Все это вместе он воспринимает из своей духовной пуповины цельно-поэтически. Человечество может быть адекватно-радостно принято им лишь как часть мировой гармонии. Для этого его должен встретить по выходе из родового канала такой же знающий, чуткий и восприимчивый взрослый, в симбиозе с которым ребенок учится дышать и жить в ритмах великого Дао.

Но, увы, общественное сознание еще далеко от того, чтобы переводить такие вещи в плоскость реальной повседневной практики. Родительская любовь, благодаря которой должно, по идее, осуществиться божественное единение Матери и Дитя на Оси Вселенной, ограничивается на деле чисто биологической заботливостью, часто в ней отсутствуют даже простая теплота и земная поэтичность. Что и становится мощным шизогенным фактором.

Отсутствие, при всем их духовном сходстве, с матерью душевного контакта (и даже, по всей видимости, биологического — мать не кормила ее грудью, и по всей видимости, в глубине души предпочитала ей сестру, которую выкормила сама) — кардинальная точка в судьбе Цветаевой, многое в ней предопределившая. Обида за это — осевая из всех обид.

Так и слышится голос психоаналитика: «Мама в детстве не любила, поэтому и была маленькой старушкой, так и не сумела стать нормальным ребенком и всю жизнь потом искала себя, маленькую».

Но Цветаева не говорит языком детских обид — она пластично использует этот язык для раскрытия фундаментальной подмены реальности (подлинного бытия — профаническим бытом), которая начинается вроде бы с невинных вещей.

Вот что пишет М.Цветаева о невольных попытках матери нарушить целостность ее восприятия:

"Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина и вообще Стихи... для меня до-семилетней и семилетней были — ряд загадочных картинок — загадочных только от материнских вопросов, ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из состояния данности. Когда мать не спрашивала — я отлично понимала, то есть и понимать не думала, просто — видела. Но, к счастью, мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи остались понятными".

Понятно, например, что в строке "Черногорцы? Что такое? — Бонапарте вопросил" и без ответа на вопрос: "Мама, что такое Наполеон?" ("Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон?" — "Нет, мне никто не сказал". — "Да ведь это же — в воздухе носится!"), что черногорцы — это черные люди в черных горах: на каждом зубце горы — как дети рисуют — по крохотному злому черногорчику (просто — чертику). А Бонапарте, наверное, красный. И страшный. И один на одной горе".

Оглупляющее, бессмысленное чувство войны схвачено и передано верно. Как у одного пятилетнего малыша, который на мой вопрос: "Что такое бог?", не задумываясь ответил: "Бог — это когда в церкви пахнет дымом". И вынес тем самым приговор бездушию формального богослужения, если не сказать больше — состоянию современной церкви: ее периферийности в жизни общества, оторванности от нужд личности. (Можно вспомнить восприятие церковной службы в храме Христа Спасителя досемилетней Цветаевой как стояние в холодильнике, а самих священников — как покойников.

«Эти воскресные службы для меня были — вой. «Священники пришли» звучало совершенно как «покойники».
—Барыня, покойники пришли, — прикажете принять?» («Черт»).

Услышав такое определение, родители в лучшем случае проведут с ним скучную нравоучительную беседу о Боге, которого ни они, ни он через них не чувствуют. И если он каким-то чудом сохранит свою бесхитростность до школьной поры, то, прочитав на доске тему сочинения "Что такое Бог?" внезапно почувствует себя таким дауном! Найдись у него слова, он скорее написал бы сочинение о том, почему он не может написать сочинение!

Здесь уместно упомянуть признание моего знакомого, которого я уже цитировала, что уже позже, сомневаясь во всем, он испытал пару раз, как ему кажется, опыт благодати, в котором у него "не было вопросов, но это не значит, что были ответы". И тем не менее его недоумения органически разрешались.

Но и блаженная немота должна разрешиться собственной речью.

Старшеклассник так упрямо, не по своей воле медливший над листом бумаги, тот, что готов был променять себя на любого другого — понятливого (отцовское, после жалоб классной дамы, несмотря на всю его интеллигентность: "Ну, чего ты не понимаешь?" — "Ничего! Ни-че-го!" — "Нечего тут понимать. Просто зубри!"), ежась под скорбным взглядом учительницы, пытаясь лихорадочно просечь, какой именно ответ у доски ей нужен, ибо ответов несколько, но учительница, похоже, не чувствует в духе и силе ни одного — у учительницы нет выстраданного угла зрения, она какая-то потерянная — и поэтому любой ответ навеки обесценен и только усугубляет позор невысказанности. А на улице — такой постмодернизм! Он буквально носится в воздухе!

Настает день, когда ученик должен решить, кто из них двух ненормален: он или мир.

Отсюда видно, как цивилизованный мир — в целом — шизогенен. Душа в схватке с ним почти обречена истаять. Приходится только удивляться гению Льва Толстого, который высказывался в том духе, что никакая наука, будь то математика или история, сама в себе воспитательного значения не содержит, а если кто все же имеет непреодолимое желание кого-нибудь воспитать, то тот должен любить свою науку и верить в нее, любить ученика и верить в него. Просто напросто, легко и запросто. Не концентрируя внимания на воспитательных выводах, якобы следующих из наук специальными методами. Даже не помышляя о них за отсутствием оных.

Любовь как способ смыслообразования! Как субстанция, закладывающая и скрепляющая угол зрения в соответствии с высшими Законами Жизни! Вера формирует, закладывая содержание в жаждущие ячейки структуры. Становится незримой линией, проводящей интуитивно знаемую истину от одного угла зрения к другому — поверх наук и голов проводящей.

А еще Толстого по школьной привычке называют плохим философом!

Когда заключенному в "курятнике" Гадкому Утенку приходится делать какой-то смутный, мучительно-тягостный, в то же время, такой восхитительный, до жути притягательный выбор, самое большое его искушение — так радикально пересмотреть свое и всеобщее прошлое, что все прочие родичи по курятнику окажутся в стане бледных либо зловещих теней. Между тем как все тут — жертвы одного процесса: малоподвижного, но все же диалектического цивилизованного развития, которое наказывает самое себя топтанием на одних и тех же ступенях, пока не происходит — в глобальном бессознательном — интуитивного переворота на почве накопленных проб и ошибок. И мир может неожиданно перескочить сразу через несколько ступенек, как только становится готов — в направлении, указанном якобы отсталыми детьми и святыми.

В фильме Антониони "Забриски Пойнт" внезапно повзрослевшая героиня взрывает в собственном воображении буржуазную цивилизацию. Мира, который отнял у нее только что обретенного возлюбленного — чистого и наивного юношу-бунтаря — больше нет.

Для большинства такой удар — последняя точка в потугах детского сознания нащупать слабую доску в курятнике путем выбивания досок ногами. Вместе с курятником они, как правило, сжигают в собственной душе великую Поэзию или, прокляв Неузнанное, навсегда остаются в своих имманентных стенах, пополняя в культуре стан скучающих постмодернистов.

Но для Бродяги Дхармы подобный удар — как молниеносное становление личности. Прошлое сходится с будущим в точке настоящего, отсылая вожделенное здесь и сейчас к присно-памятному здесь и завтра, наводя мост от вещей-как-они есть к вещам-как-они-должны-быть. И — незримо — есть.

"Прощай, свободная стихия!" — написала обломком скалы семилетняя девочка Марина Цветаева на берегу природного моря, ни в чем, конечно, не повинного за то, что оно оказалось бледнее поэтической фантазии Царя природы — Человека, подчиненного Смыслу, которым пронизано с незапамятных времен все его существо.

Слог "пены морской" Марины упруг как парус: "Оттого ли, что я маленьким ребенком столько раз своею рукой писала: "Прощай, свободная стихия!" — или без всякого оттого — я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь, а на смерть.

И, в совсем уже ином смысле, моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием — с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила — белым по серому — шифером по шифером — и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я, из-за того первого, уже не могла полюбить.

И — больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалось — прозрением: "свободная стихия" оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются — никогда".
Стихия эта — Психея, Душа. И тут выбирать — не приходится.

Цветаевская мифология Психеи — точнее, один из ее аспектов — предельно ясно, но непривычно для нашего вещественного сознания, изложена в ее лиро-философском эссе «Письмо к Амазонке», где Цветаева, перечисляя разные уровни и градации любви и типы любящих, упоминает (всего одной фразой, вскользь, как бы стоящую за кадром — «великую любовницу, ищущую в любви любовную любовь и прихватывающая свое добро всюду, где находит его». А что такое, по Цветаевой, любовная любовь? «Любовная любовь — детство. Любящие — дети. У детей не бывает детей». (Эту мысль она неоднократно высказывает в разных письмах и статьях, причисляя к любящим любовной любовью еще стариков и поэтов — надо полагать, поэтов без истории). Но душа забывает о себе, сворачивается, затухает «падает». И тогда внутреннее «Я», желая спастись из своего мучительного, неосознаваемого нами плена, ищет идеальную Женщину — Мать с ее спасительным возрождающим взглядом, выводящим из небытия, Мать как посредника между этим миром и тем. Иногда — в буквальном смысле слова ищет женщину (вне зависимости от половой принадлежности своего естества). «Тут — ловушка Души. Попадая в объятья старшей, младшая попадает не в ловушку природы и не в ловушку любимой... Она попадает в ловушку Души». «Ей хочется любить, но... Она любила бы, если бы...» (попробую продолжить — если бы не необходимость возрождать природных, а не прирожденных — в себе — детей, следуя дурной бесконечности, закону самосохранения природы, которая «запрещая в нас то же, что запрещает Бог, делая это из любви к нам», делает это из любви к себе, «из ненависти ко всему, что не она». И если бы — а это самое главное — не необходимость любить других, — так плохо осознаваемая нами необходимость Свободы во Христе.

«И вот она в объятьях подруги, прижавшись головой к груди, где обитает душа» (курсив М.Ц.)
Далее Цветаева говорит что-то очень важное, что шокирует непривычные мозги — точнее, привычные, способные перепахивать лишь фрейдистские пласты: «Боль — это измена своей душе с мужчиной, своему детству — с врагом. А здесь врага нет, потому что — еще одно я, опять я, я новая, но спавшая внутри меня и разбуженная этой другой мной, вынесенной за пределы меня и, наконец, полюбленной». (курсив М.Ц.)

Отложим в сторону всю перипетию плотско-природных ловушек, которые так пристально отслеживают некоторые исследователи, воссоздавая глубоко ложно понятую историю взаимоотношений Цветаевой и Софии Парнок и начисто отбрасывая цветаевский эзотеризм. Ловушек, в которых оказывается душа в случае половой любви, — все эти жестко и подробно выписанные Цветаевой круги ада, в которых маленькое всегда с неизбежностью принимается за большое, а и без того раздробленное «я» все больше раздрабливается, за чем — в пределе — следует распыление в хаосе. (Такого рода любовь вызывает в ней силы хаоса, — пожалуется Цветаева одному из своих адресатов в разгар отношений с К. Родзевичем). Ибо: «Раз и навсегда: Богу нечего делать в плотской любви. Его имя — природное или противопоставленное любому имени — мужскому либо женскому — звучит кощунственно... Уже тем, что я люблю человека этой любовью, я предаю Того, кто ради меня, ради другого принял смерть на кресте другой любви». («Письмо к Амазонке»).

Попробуем понять, что означает для Цветаевой образ мужчины.

Литературовед Н.Доля, который интерпретирует «Письмо к Амазонке» как иллюстрацию общечеловеческих заблуждений, в том числе заблуждений поэтессы — гордячки, для которой — даже представить страшно — уж и собственный ребенок должен быть не от мужчины, а только от себя, любимой — иронизируя, делает, однако, весьма верный вывод о том, что у Цветаевой самая высокая похвала, которой может бы удостоен мужчина — это отождествление с женщиной: «Макс (Волошин) тоже женщина и мой <...> настоящий друг!» (Из писем М.Цветаевой). Тут Доля попал в самое яблочко. Это абсолютно цветаевский подход!

Мужчина в мифологии Цветаевой — это все плоское, косное, грубо-линейное, по-пилатовски логичное. В поэзии Цветаевой — нет мужчин. Есть рыцари. К «мужчине» относятся даже официальная церковь и государство: «Церковь и Государство? Им нечего возразить... пока они гонят и благословляют тысячи юнош на убийство друг друга». И отвергая «мужчину», в идеале мы должны прильнуть не к груди земной женщины, а обратиться с теплой молитвой к Божьей Матери — совершеннейшему воплощению человека и Вечной Женственности, Софии Премудрости Божьей. И, только воскресив в себе в ее Энергиях, под ее Благодатным оком, внутреннего Ребенка, который суть не мальчик и не девочка, а Душа в Святом Духе, можно обрести подлинного жениха — Иисуса, который суть тот же мудрый Ребенок с рыцарским забралом — забралом из Любви. (У Цветаевой нет этих последних рассуждений, но нетрудно додумать, двигаясь в сторону, противоположную от псевдофрейдистских толкований).

«В детстве, когда наше воспоминание о Родине еще ярко, мы наделяем окружающие пейзажи рудиментами сакрального значения, прикрепляя к ним архетипы», — пишет философ и эзотерик Александр Дугин (А. Дугин, «Русская Вещь»).

А. Дугин пишет: «Росток души ребенка, даже без специальной практики традиции, окачествляет пространство, где он появился на свет, сделал первые шаги изнутри вовне. Сад, двери, окна, крыши, деревья — все принимает в себя архетипические токи, изливая онейро-родину на «малую Родину» тела. Кочевничество, номадизм брутально обрубают это свойство. С этим связан ритуал детского травматизма и обряд обрезания. Крайняя плоть осознается как магическая пуповина, связующая телесный организм с эротическим телом души внутри и внешним миром снаружи. Обрезание втискивает андрогинную душу... в поляризованное гендерное тело, делая возврат невозможным. Обрезанные мужчины становятся мужчинами окончательно, бесповоротно. Разрушается мост непосредственного — «монифестационистского» — процесса» (А. Дугин. «Русская Вещь»).

Я не буду сейчас разъяснять каждое слово в сложном отрывке из автора, посвятившего многие годы изучению религиозного эзотеризма и делящего все религии на креационистские, в которых присутствует живой контакт с божеством и его проявлениями, и манифестационистские, во многом десакрализированные, профанические, где такой контакт невозможен. Выделим главное: мужчина в сакральном смысле противоположен ребенку и сравнение это отнюдь не в его пользу.
Отсюда — через вскрытие глубинного смысла — совершенно иначе можно проинтерпретировать ставящую всех в оторопь цветаевскую фразу: «Также опускаю редкий случай души тоскующей, ищущей в любви душу и, стало быть, обреченную на женщину». То есть люди, ищущие в любви душу, обречены на женщину в качестве второй половины (все — и мужчины, и женщины). Но у Цветаевой-то речь идет о процессах бытийных, а не бытовых. Бытовая сторона ясно изображается ею как неизбежное нарастание аномалий по мере удаления от Истоков, причем, двуполые отношения в обезбоженном мире ненормальны так же, как и однополые.

Вдумаемся, ведь и у В. Соловьева чистые души взыскуют Вечную Женственность. А она, по Цветаевой, может быть присуща всем — и женщинам, и мужчинам. Женщина на образно-мифологическом плане цветаевского эссе — это вовсе не природная женщина! Ею вполне может быть мужчина. (Для сравнения — в православии выражение блажен муж может относиться также и к женщинам: «Если с таким крепким мужеством слабая жена отражает от себя грех, то и она блажен муж, воспетый Давидом» (Св. Игнатий Брянчанинов).

Если немного додумать, на что Цветаева и рассчитывает, то выстраивается удивительная цепочка — иерархия (все это не имеет отношения к реальному раскладу полов в плотском мире, так как внизу, в «области внешней тьмы», все строится с точностью до наоборот: здесь последние — первые, а первые — последние). Задача человека — перестать быть «мужчиной». «Мужчиной» можно перестать быть, только раскрыв в себе вечно женственного ребенка (равно как и рыцарственного). Женщина, душа, мальчик, девочка, любовь — по сути, синонимы одной субстанции. А сердцевина ее — ребенок. Обыкновенная женщина — тоже «мужчина». Правда, обыкновенная женщина все-таки выше обыкновенного мужчины. («Впрочем, чудовищ среди женщин не бывает»). Но Женщина-Дочь, обращенная к Женщине-Матери, выше Обыкновенной женщины, как еще более приумноженная Женщина. Еще выше — Женщина-Мать, любящая другую, а не только себя в ней, маленькую. Еще выше — «голая Душа», Великая любительница Любовной Любови. Еще — Мировая Душа, обрученная с Женихом, который суть Все Сразу: Любовь и Источник, Тело и Логос, Потенция и необъятная Мечта... Который суть Играющее Дитя, каким увидел его в своих интуициях Гераклит.

Ребенок - рыцарь герцог Рейхштадский, — «гениальный, непризнанный, несчастный мальчик», каким он увиделся ей на портрете — был, по-видимому, ранней цветаевской проекцией действующего через нее архетипа божественного Ребенка в его приближении к абсолюту. («Может быть, так любить нельзя живых» («Письма к П. Юркевичу»). Недаром в переписке с Р. М. Рильке, которого она считала однородным с собой существом, небожителем, то есть поэтом, который, по ее собственным словам, по определению преодолевает (должен преодолеть) жизнь, Цветаева восторженно константирует: «Райнер Мария – это звучит по-церковному, по-детски, по-рыцарски. Ваше имя не рифмуется с современностью, оно – из прошлого или будущего – издалека». У юной Цветаевой было мифологическое, а не только лишь романтическое сознание, как иногда полагают. Художественный же ее метод в зрелые годы можно определить — очень условно — как синтез глубинного романтизма с глубинным реализмом. Этот синтез позволил ей увидеть за скрытыми глубинами пола — еще в далекие 30-ые годы — недоступное психоаналитикам (за исключением разве что К. Юнга): фундаментальную обреченность бытия без Бога.

В этой связи за половыми инверсиями, на языке которых Цветаева передает свои донные смыслы, обращаясь к писательнице-лесбиянке, существующими в мире вещественного, а не существенного — явственно просматривается изломанная (равно как и обреченная) попытка несчастных существ и природы в целом вылечить себя от глобальных извращений «нормальной» цивилизации и падшей природы вообще — в религиозно-онтологическом смысле. Изломанной и обреченной потому, что никто при этом не «просит помощи у Бога».

Удивительно — точнее, неудивительно — но Цветаева все про все понимала!

«Плакучая ива! Неутешная ива! Ива — душа и облик женщины!.. Седые волосы, сметающие лицо с лица Земли. Воды, ветры, горы, деревья даны нам, чтобы понять человеческую душу, сокрытую глубоко-глубоко. Когда я вижу отчаявшуюся иву, я — понимаю Сафо».

Так говорит Марина Цветаева — самый неузнанный мистик нашей литературы («Иметь все сказать — и не раскрыть уст, иметь все дать — и не раскрыть ладони»), потерявшая в последние годы надежду быть понятой хоть кем-то. Великая любовница любовной любови, «прихватывающая свое добро» среди ветров и гор, деревьев и стариков, мужчин и женщин... Чувство которой было по сути надсексуальным и сверхприродным. Амазонка, а не «белое видение женщины», ведущая нас к главному — даже не себя в себе — пусть даже маленьких — искать и любить, а других любить — во Христе любить — чтобы не остаться отрешенной Дамой — пусть даже Мировой Душой! — одиноким «Островом с необъятной колонией душ», затерянным в волнах Вселенной.

С этой своей высоты она — живейший человек! — иногда срывалась и становилась то женщиной-Дочерью, то Женщиной-Матерью, то писала в посвящении дочери Але: «Знай одно — что завтра будешь старой. Остальное, деточка, забудь». Но не в этом суть. Она много мучилась, чтобы научиться понимать то, что знала.

Исследователи, которые пытаются вывести историю взаимоотношений Цветаевой и поэтессы Софии Парнок из анализа «Письма к Амазонке» и цикла «Подруга» (по крайней мере, отношение Цветаевой к Парнок) без учета всей глубинной составляющей, оказываются в положении полных профанов. Как известно, в эссе идет речь о двух героинях: Младшей и Старшей. Отождествляя Младшую с самой Цветаевой, исследователи, на мой взгляд, обнаруживают странную слепоту. Не надо быть специалистом, чтобы понять, что Цветаева в сравнении с Парнок была бесконечно старшей по своему духовному возрасту, а младшей — разве что в вопросах житейско-бытовых. Да и весь легкомысленно-противоречивый облик Младшей, склонной к самообману, никак не вяжется с психологическим обликом Цветаевой, которая говорила о легкомыслии, как о никогда не привившейся к себе добродетели, вкупе с добродетелью благоразумия. Младшая на бытовом, а не бытийном плане произведения — это скорее образ Цветаевой, зеркально преломившийся в воображении Софии Парнок, которая так написала о встрече с будущей подругой: «В дом мой вступила ты, счастлива мной, как обновкою: Поясом, пригоршней бус или цветным башмачком». (С. Парнок. «Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою...»). Но это восприятие Цветаевой как земля от неба далеко от реальной Цветаевой.

Тем не менее, совсем не случайно Цветаева в какой-то момент открылась Софии Парнок как «маленькая девочка неловкая», а в какой-то — как мальчик Кай.

У самой же Цветаевой, как явствует из цикла «Подруга», Парнок временами ассоциировалась то с матерью, то со Снежной Королевой. («Ваш маленький Кай замерз, О Снежная Королева!») Первое же о ней впечатление вообще не имеет аналогов с человеческими мерками: «Не женщина и не мальчик, но что-то сильней меня!»

Ассоциация же с «демоном крутолобым», которого «уж не спасти», восходит к типичному цветаевскому мотиву — любви к проклятому. «Проклятое», «злое» углубляет измерение бытия и должно быть познано через любовь, должно быть любовью освобождено, преображено и вновь внесено в гармоничный божественный порядок. И вообще, «все это очень серьезно, как все, что бывает в детстве», как написала поэтесса Ирина Кажянц. «Но тоска моя — слишком вечная, Чтоб была ты мне первой встречною». (М. Цветаева, «Подруга»)

«Зачем тебе, зачем моя душа спартанского ребенка?» — эта глухая жалоба Цветаевой, высказанная в одном из стихотворений цикла, тоже, конечно же, не случайна.

Эта под-история протекала где-то в четвертом измерении. В этом же — проклятые тормоза-ограничители быта! — все могло запутываться, сбиваться, профанироваться. В некотором роде отношения Цветаевой и Парнок — это такие ролевые игры, наподобие тех, в какие играют поклонники Толкина, черпавшего энергии архетипов из фольклора и сакральных мифов.

Проиллюстрирую это на примере одного своего произведения. Да простит меня читатель, что я включаю в литературоведческий анализ феномена Марины Цветаевой размышления о собственном писательском творчестве, но эту свою лирическую миниатюру я просто не могу не привести.

О ДЕТСКОЙ ДРУЖБЕ КАК ОПЫТЕ РОЖДЕНИЯ ДУШИ

Я только недавно поняла, что моя повесть «Мягкий мир» — это сказка о Снежной Королеве, — великая сказка Андерсена, зачерпнувшего чистую струю из глубин нашего коллективного бессознательного, где пребывают удивительные миры и энергии архетипов.
Главные героини повести — два Гадких Утенка: 12-летние девочки Мария и Света.
Света, которая сама себя отождествляет с пушкинской Татьяной — это Кай, похищенный из этого мира Снежной Королевой. Мария — это Герда, или некий собирательный маленький Онегин.
Только Света не взялась из ниоткуда. Тихая, непонятная, никем, даже поначалу Марией, не замечаемая девочка Света — это трансцедентная сущность Марии, отлетевшая в эти переливающиеся радужными потоками глубины. Наша трансцедентная сущность, которую все мы — жестокие, непонятливые, заигравшиеся в свои маленькие игры дети — вытеснили за грань бытия. И вот она пытается сложить из льдинок слово «Вечность» — урок, заданный великой Трансцедентной учительницей — Снежной Королевой. А задача Герды — спасти ее из этого высокого плена, прислушавшись к тому теплому, тому горячему, что есть в ее сердце, которое еще не успело покрыться грубой коркой омертвевающего мира взрослых. И вот великое делание свершилось. «Да, радость была такая, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Снежная Королева; сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков... Снежная Королева могла вернуться когда угодно — его вольная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами». (Г.Х. Андерсен «Снежная Королева»).
Интересно, что Света и Мария (Кай и Герда) могут меняться местами. С одной стороны, Мария — это Герда, а Света — это Кай. Но с другой стороны — все совсем наоборот! Это Света (Кай) приподнимает над Землей диковатую Марию, в чем-то похожую на Маленькую Разбойницу, это в ней всеобъемлющая Теплота. И кто здесь — Герда и кто здесь — Кай? И кто кого спасает?..
И еще: «Холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной Королевы было забыто ими, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие: «Если не будете как дети, не войдете в царствие небесное!»
Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма:
Розы цветут... Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа.
Там сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душой, а на дворе стояло теплое, благодатное лето!» (Г.Х. Андерсен «Снежная Королева»).

Благодаря матери — Снежней Королеве в глубинном восприятии Цветаевой произошло таинственное соединение Кая и Герды в андрогинную сущность, имеющую все качества Земли и Неба.

Ведь Цветаева прямо писала, что детство было для нее порой слепой правды, а юность — зрячей ошибки, иллюзии. Значит, в какой-то период — юношеский — она утратила присущую ей божественную целостность, а потом снова обрела ее и вступила в полу зрелости

Зрелая же Цветаева транслирует Живое Слово, Живую Глубину, то, что философ Александр Дугин называет в своей статье «Археомодерн» словом Структура — наше глубинное, русское «Я». Слово «русское» можно смело взять в кавычки, как универсальную реальность, лежащую по ту сторону рационалистического мировосприятия. (Вспомним прозрение Ф.М. Достоевского о всемирной отзывчивости русской души).

Исследователям американской школы трудно поверить, что Цветаева в своей основе так и осталась ребенком «до 7-ми лет», который уже тогда писал стихи и любил, любил всеобъемлющей теплотой каждого встречного пса. «Всем самым главным в себя я обязана людям, которых я любила», — напишет она в автобиографии.

Большинство поэтов ищут в собственных глубинах когда-то утраченную Душу. А Цветаева ее — дарила.

Дарила как Поэт. Как личность же — подчеркну это еще раз — Цветаева может оступаться, отступать от действующих через нее архетипов и собственного онтологического статуса Любительницы любовной любови. Но отступления рано или поздно приводят к неудовлетворенности, а грубые отступления — к глубокой тоске. Ад же — это ни что иное, как измена своему статусу, полная неспособность принимать и транслировать Божественные Энергии.

Таким образом, самый запутанный и противоречивый, по мнению большинства исследователей, цветаевский текст — «Письмо к Амазонке», в котором некоторым из них видится отражение психологических проблем раздражающей своими псевдоглубинами поэтессы, на деле оказывается эзотерическим текстом с двойным дном. В первом — рассказывается бытовая лесбийская история (причем, психологический портрет Младшей, с которой исследователи отождествляют автора, не имеет ничего общего с психологическом портретом Цветаевой). Во втором — та же история — в мире чистых душ, то, какой она могла бы быть, не удались мы от Истоков.

Дело не в том, будто Цветаева против однополой любви или не хочет признавать тенденцию к ней в себе, как считают Анна Саакянц и Диана Л. Бургин. Цветаева, безусловно, всегда и во всем приветствовала свободу личного самовыражения и никогда не руководствовалась общепринятыми представлениями о греховном. Другое дело, что можно выбрать еще большую свободу — Свободу от рабской свободы естества.

Причины же разрыва М. Цветаевой и С.Парнок, на мой взгляд, вполне прозрачны. С. Парнок не оправдала безусловно завышенные ожидания Цветаевой, всегда искавшей в любви абсолют, и не смогла стать спутником на пути к абсолюту.

И еще скажу устало,
—Слушать не спеши! —
Что твоя душа мне встала
Поперек души.
            («Подруга»)

Возможно, это общая судьба — потерять душу, пройти по всем кругам уготованной нам реальности и воскресить ее, духовно окрепшую. Только надо помнить дорогу домой, вглядываясь в горящие письмена поэтов без истории.

Жизнь — это место
Где жить нельзя.
Ев — рейский квартал...

Так не достойнее ли во сто крат
Стать вечным жидом?
Ибо для каждого, кто не гад,
Ев — рейский погром —
Жизнь.
                     («Поэма Конца»)

Так кто же такие святые?

Новоначальный монах — это тот, кто, вырывая из себя с корнем чисто человеческие установки, цепляющиеся своими корешками за временные, системно ограниченные вещи и истины, держит перед своим мысленным взором Необозримую Даль. Сам он в этот период настолько во всем временном не участвует, до того во всем сомневается, что словно ничего не понимает, то есть устраняет свой разум.

Святой, достигший знания в Силе и Духе — это тот, кто, дотронувшись сердцем, то есть очищенным от всего косного дном души до этой неведомой Дали, оказывается способным узреть временно ограниченные истины в их правильном соотношении с Вневременным. Знание приходит к нему как наитие Свыше.

Так чем же занимается монах, как ни непрестанным возобновлением утраченной целостности, конечная цель которого — детская святость?

Отсюда становится понятным библейское изречение, что "если кто не родится Свыше, тот не сможет войти в царство небесное" и даже не сможет уразуметь в должной мере глаголы Божественного Писания.

Остается подытожить эту часть цитатой из Иосифа Бродского, который считал, что по пути стойкого отказа от примирения с существующим миропорядком «Цветаева прошла дальше всех в русской и, похоже, мировой литературе. В русской, во всяком случае, она занимает место, чрезвычайно отдельное от всех — включая самых замечательных — современников...»

Добавлю от себя, что по сходному пути отказа прошел еще один поэт, в чем — то схожий с Цветаевой даже по психофизике, многое, конечно — но не все — предопределяющей. Поэт, правда, не такого масштаба и с меньшим культурным багажом, выросший в атеистической стране и не способный переварить то, что транслировал, вышедший из молодежной рок — культуры и поэтому неизвестный в широких кругах — тоже «не женщина, а дух», «голая душа», автор и исполнитель своих песен Янка Дягилева (1966-89), — тоже ушедшая из жизни трагически. Тоже обладавшая этим пристальным и одновременно отрешенным взглядом чуть мимо — «взглядом со многими разноглубинными пластами» («Письмо к Амазонке»). Крайне пессимистичная на поверхности, полная выкачиваемой из нас мертвой воды, но узнаваемая по чистоте и величию субстанции внутри. И когда мы отсасываем эту субстанцию, но ничего не даем взамен, Поэты умирают.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ЧЕРНАЯ СОБАКА

Все это так. Но что-то в этом не так. Все это слишком походит на сдобренную модным в наши дни мистицизмом прекраснодушную идиллию с верой в Человека, который звучит гордо. Должен звучать. Но — не звучит...

Скажем так — прекраснодушны поэты. (Но и они едва ли простодушны). У Поэтов же — за левым плечом — всегда начеку Соглядатай. К одним он является в образе Черного Человека, к другим — в еще более откровенном своем обличье — обличье Мышатого — похожего на гладкого дога-чёрта, который, являясь, общался в детстве с совсем маленькой Мариной. И у детства Марины Цветаевой есть неусыпный враг — она сама. В некотором роде она — сама себе «мужчина»: тот самый «мужчина» — «ветхий» Адам — с которым изменяют детству, лишая его Цельности. Об этой стороне четвертого измерения Марины Цветаевой попыталась поговорить в своей печальной и жестокой статье «Две души Марины Цветаевы» Анна Кирьянова — самый одиозный исследователь — непрофессионал, не скрывающий своей неприязни к Цветаевой, личность которой отчего-то притягивает ее как магнитом. Я вполне согласна с ней, но только в постановке вопроса. Все остальное вызывает просто смех: и слишком однозначная, грубо-приземленная трактовка некоторых, вырванных из контекста, фактов цветаевской жизни, и непонимание ее глубинной религиозности, и откровенно некритичное отношение к свидетельствам современников. Люди — то, как мы уже могли убедиться, часто подходят ко всему с привычными мерками, а то, что не вписывается в их систему координат, вольно или невольно подвергается кастрации или окутывается фантазиями.

Но одного слова из песни точно не выкинешь. Цветаева при всей своей трансцендентности была очень странной матерью по отношению к собственности маленьким дочерям. И не в смысле пресловутого «не одеты — не обуты»: это — то при ее вечной неустроенности, как раз понятно. Тут дело в другом. Она была страшной матерью. Больной матерью. А в детстве — больным ребенком. Стеснительным, неконтактным ребенком, единственным другом которого был игрушечный черт. У меня нет этому прямых доказательств, но интуиция подсказывает мне, что Цветаева страдала в раннем детстве детским аутизмом и вылечилась через движение вспять, в глубь Раковины, где встретилась со своим высшим «Я» и шагнула в мир уже преображенным и все преобразующим человеком, сама став проводником тех тончайших и светлейших энергий, в которых только и могла жить. О рудиментах недовоплощенности, неодушевленности, видимо, доставшихся от того периода, Цветаева пытается сказать в письмах к Родзевичу.
Но высшее «Я» — не награда, а реальность, требующая постоянной работы, и ее иногда упускают из рук, что случается даже с просветленными монахами. А за этим следуют провалы, падения. Такие падения наиболее наглядно проявляются у Цветаевой в самом святом — взаимоотношениях с собственными детьми.
Это — та плоскость в ней, тот внешний берег, от которого она всю жизнь стремилась оттолкнуться и куда ее неумолимо прибывало течением имманентного существования.
Анна Саакянц пишет про дочь Марины: «В 6 лет маленькая Аля была настоящим другом и собеседником матери... Она вела дневники и писала стихи, удивлявшие своей талантливостью и взрослостью».
Еще бы! Но странная была эта дружба... Мне она напомнила дружбу маленькой пианистки Полины Осетинской с отцом — музыкальным педагогом, которая в конце концов вынуждена была бежать от него и вся страна, восхищавшаяся перед телеэкранами юным дарованием, с изумлением узнала об изнаночной стороне их отношений.
Похоже Цветаева даже не подозревала, каким она была «мужчиной», когда ломала через колено обычных детей, чтобы сделать из них необычных — в противоположность обществу, которое поступает наоборот. А внутренняя логика некоторых ее шокирующих поступков именно такова. Иначе придется признать Цветаеву поэтом — авантюристом, быт которого уж слишком разительно отстает от бытия. Один мой не вполне адекватный виртуальной корреспондент рассказывал, как душил своего малолетнего сына подушкой, чтобы «развить у него умственные способности» через сопротивление своему эго. Этот метод вполне мог бы быть включен в репертуар Цветаевой-матери. (Я, конечно, страшно утрирую; поступки моего знакомого соотносятся с поступками Цветаевой не более, как карикатура с портретом. Но я и хочу в данном случае прибегнуть к карикатуре). Двухлетняя Ирина, привязанная за ногу к кровати в темной комнате с крысами под кроватью, в то время как мать ходит по поэтическим вечерам или пусть даже в поисках хлеба по голодной постреволюционной Москве, о чем с возмущением пишет Анна Кирьянова — это, на мой взгляд, отнюдь не вольности богемной поэтессы, не жест отчаяния и не — всего лишь — суровая необходимость. Это — вольности ради Вольности, своего рода взращивание «победы путем отказа» — любимого ее принципа по жизни.

Цитата из С. Карлинского: «Отношение Цветаевой к маленькой Ариадне было столь же требовательным и деспотичным, как и обращение с ней ее матери в годы детства. Это видно из ее дневника «Аля. Записки о моей первой дочери...». Ребенку еще не исполнилось и двух лет, однако эти тексты возлагают на нее ожидания невероятных достижений и свершений в будущем...». (Маленькая поправка: в семье М.А. Мейн — матери самой Марины — при всем царящем там спартанском духе — не было т а к о г о!). При этом Цветаева пишет и говорит о дочери, которую, по-видимому, заставила писать дневники и которую держит в ежовых рукавицах (попросту говоря — подвергает жесткому прессингу, если что не по ней) с большой теплотой, посвящает ей стихи с характерными строчками: «не знаю, где ты и где я» и даже по-своему дружит с ней. «Пассивное копиистическое начало из Марининого преподавания было изгнано раз и навсегда, замененное творческим. Вместо нудных примеров сразу же, с места в карьер, писались изложения, сочинения; обычно безликие, ученические тетради превращались в дневники», — напишет в своих воспоминаниях Ариадна Эфрон, деликатно умалчивая о перегибах и издержках в своем воспитании. В ее изложении итоговый результат цветаевской педагогики выглядит вполне благовидно: «Смело выкинув из педагогической цепи промежуточные звенья, Марина выучила меня читать — бегло и достаточно осмысленно — к четырем годам, писать — к пяти, а вести дневниковые записи — более или менее связно и вполне (по старому правописанию) грамотно — к шести-семи годам». Среди первых дневниковых записей маленькой Али можно обнаружить, между прочим, и такую: «Моя мать очень странная. Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всегда любуются на своего ребенка, и вообще на детей, а Марина маленьких детей не любит». Властный дух матери, вопреки желанию искренне любившей и понимавщей ее Ариадны Сергеевны, наиболее выпукло просматривается в «Записях о моей матери» — первых получерновых набросках будущих воспоминаний.

Попробуем понять, кем были для Цветаевой не понимавшие ее в детстве обычные дети. Вероятно, они похожи на любимицу матери сестру Асю, которой она дарила ракушки, чтобы та согласилась еще немного помечтать с ней, а потом иногда отнимала эти ракушки, и била ее, потому что у нее ничего, кроме этих ракушек, не было, никакой своей мечты, как о том поведано в эссе «Мой Пушкин». (Сказанное — в художественно- заостренном виде — относится только к детским годам Анастасии Цветаевой, ставшей впоследствии писательницей и мемуаристкой.)

В одном из стихотворений Цветаева пишет:

Безнадежно-взрослый Вы? О, нет!
Вы дитя, а дети так жестоки:
С бедной куклы рвут, шутя, парик,
Вечно лгут и дразнят в каждый миг,
В детях рай, но в детях все пороки —
Потому надменны эти строки.
               («Безнадежно-взрослый Вы? О, нет!»)

Да, Цветаева сурово преследовала по жизни жестокость заурядности, обычности. Она бы не простила ее собственным детям.

Но судьба сыграла с ней злую шутку. Родившийся позже сын Мур, которого она, в отличие от дочерей, напротив, холила и лелеяла, тоже стал вундеркиндом — был необычайно умен, образован в свои детские и отроческие годы — в год гибели матери ему исполнилось шестнадцать — писал, рисовал, интересовался философией.

Но был «душевно неразвит», как отметила в дневнике, посвященном его детским годам, сама Цветаева. Вундеркиндство не принесло детям ни счастья, ни большой дороги, ни подлинной близости с матерью. Да и не удивительно — ведь сына она растила, мечтая об острове с ним, чтобы никто не смог бы встать между ними, помешать ее любить, помешать ей родить его Свыше — от себя как Поэта — проводника божественного Детства. И как-то незаметно подменила Бога — сыном, заслонив ему Бога... Сын и вырос на таком острове, оказавшись полностью непригодным к реальной жизни и погиб в 19 лет на фронте в одном из первых же боев.

Родить и вырастить сына — того самого божественного мальчика во плоти — было едва ли не самым горячим и заветным желанием Цветаевой. Она предчувствует, предвосхищает его, даже угадывает его будущий физический облик. Еще задолго до рождения Мура Цветаева написала в стихотворении «Сын»: «И как не умереть поэту, когда поэма удалась».

Но эта поэма как-то не удалась. Или удалась бы, проживи Мур дольше?

Никто не знает. Зато многим известны его страшные и загадочные слова, сказанные им по поводу смерти Матери: «Марина Ивановна правильно все сделала».

Расшифрованные в последние годы дневники Мура проливают свет на эту загадочность. Из них и других рассекреченных архивов видно, в какой убийственной атмосфере жила семья, двое членов которой — отец Сергей Эфрон и сестра Ариадна — томились в застенках Лубянки, а матери могли отказать даже в работе посудомойкой в столовой Литфонда. Дневники позволяют надеяться, что Цветаева все-таки заложила в сына правильную основу.

Цветаева пожертвовала жизнью — уже едва теплящейся, задуваемой со всех сторон, — в надежде спасти его от гибельного существования рядом с собой в стране, где сталинский режим захлопнул перед ней все двери. «Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет», — написала она перед смертью в одной из трех оставленных записок. Тем более что и он крикнул ей в сердцах накануне: «Ну, кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами!» и запальчиво ответил на ее горькое: «Так что же, по-твоему, мне ничего другого не остается, кроме самоубийства?» — «Да, по-моему, ничего другого вам не остается!»

«Здесь, у последней черты, все чувства Марины Ивановны достигли абсолюта», — пишет Анна Саакянц. Абсолюта по вертикали и абсолюта по горизонтали. По горизонтали это была абсолютная беспросветность.

Ведь для нее это был еще в какой-то степени и крах веры в сына (читай: Бога), Несмотря на то, что сказанные сгоряча слова мальчишки глупо было принимать всерьез, как отмечают исследователи.

И она конечно же не принимала.
И все же, все же, все же...

Девушка, просившая у Бога чистой смерти в 17 лет: «Ты дал мне детство — лучше сказки И дай мне смерть — в семнадцать лет!», пока нет «этого движения вниз, на отдых, на покой» («Письма к П. Юркевичу»), превратилось к 48-ми годам в измученную, забытую людьми и преследуемую властями, очень старую женщину, через которую уже давно не текли стихи. Медленно угасая, уходя, она все чаще примеряла к себе чистую смерть.

Всю свою сознательную жизнь она прожила абсолютной бессребреницей. За рубежом — фактически, благодаря скудным пожертвованиям спонсоров — ценителям ее таланта. Будучи не в силах приспосабливаться к коллективам, часто полным подспудной враждой и интригами, она не могла работать на государственной службе, не могла быть винтиком в неправедном бюрократическом аппарате. В слишком человеческой иерархии русского литературного зарубежья или Союза Писателей в родном отечестве места ей тоже как-то не нашлось. Не понятая ни в эмиграции, ни в СССР, она была отторгнута Системой, которая и у нас, и за рубежом узнается по своему многоуровневому отчуждающему механизму. Отторгнута Системой, но признана при жизни такими поэтами как Рильке, Пастернак, Волошин, Белый, Мандельштам...

Все по Макаревичу: «Он пробовал на прочность этот мир каждый миг, Мир оказался прочней».

Но эту трагедию нельзя однозначно трактовать только лишь как месть имманентного бытия так и не прогнувшемуся под изменчивый мир поэту- нонконформисту.

Тут все сложнее. «Четвертое измерение — мстит», — написала как-то Цветаева в письме к Пастернаку.

Именно так! Месть приходит оттуда.

Прекрасное и ужасное как две насмерть схлестнувшиеся Силы начинают страшную вселенскую битву за душу великого грешника — Поэта. И совсем не случайно силы Зла бьют Цветаеву в ее самую сильную точку (а значит, в чем-то и самую уязвимую) — в самое сильное и слабое звено, нуждающееся в закалке — прямо в Детство!

Любой мало-мальски продвигающийся православный монах начинает с обнаружение затаившегося Змея, который обвивает «голую душу» многими инфернальными кольцами — Змея, полного неистребимого желание изъять из души ее золотую сердцевину — Дитя... И только попробуй потревожить этого дремлющего в силу нашего нечувствия Дракона ... Только посмей!..
Православные монахи знают: к взыскующим Божьей Правды первым делам приходят бесы и только затем — Христос. (В этих словах я лишь пытаюсь описать процессы, протекающие в коллективном бессознательном, что не исключает возможности объективного существования Христа как Бога).

Но Поэты редко просят помощи у Бога, они хотят, чтобы Христос являлся к ним сам — как хотела того Марина Цветаева — этот эпизод есть в «Повести и Сонечке» — отказывая себе в радости пойти на Пасхальную службу — отказывая из ложно-гуманистических (и только ли?) соображений. Поэтому Поэты, как и Бродяги Дхармы, часто проигрывают брани. И не только поэты без истории. Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский, Высоцкий, Башлачев, Янка Дягилева... Сюда же можно отнести Гоголя с поэмой в прозе «Мертвые души» и отчасти Блока. Несть им числа на российской земле. Всем им не хватило терпения и смирения — в православно-святоотеческом понимании этих слов. А также умения, образно говоря, вовремя приземлиться, чтобы подняться чуть выше, спуститься с небес на землю и заново осмотреться — спуститься с небес не в привычно-инквизиторском смысле, какой обычно вкладывает в эти слова мир. Но они не были теплохладными, не были фарисеями и как раз поэтому становились практически безоружными перед нападениями врага, даже не подозревая о правилах безопасности, выработанных св. отцами за почти двухтысячилетний опыт церкви. Правилах, которые бы позволили опознать врага в лицо, позволили бы перевести работу с реальностью, в которую они вторгались, в более высококачественный и щадящий режим.

И конечно же не только мы одни — прекраснодушные (но едва ли простодушные) поклонники — отсасываем эту божественную Субстанцию, ничего не давая взамен. Главный вампир — некто Третий. Даже не вампир — ибо он не питается Субстанцией... Он просто прокалывает ее, как шину.

Большое Добро — большое Зло. Большие души, большие берега, большие трагедии... БОЛЬШАЯ ГОРДЫНЯ.

Поэтому давайте не будем делать из Марины Цветаевой иконы, как делала юная Марина икону из портрета Наполеона, ставя его в киот. Икона с Цветаевой опасна тем же, чем и портрет Наполеона в киоте с православными иконами — очередной подменой.

Не бывает такого в имманентном мире, чтобы у Белой собаки не было ее младшей сестры — Черной, пусть и играющей подчиненную роль. Отсутствие Черной собаки — это тоже Черная собака, только уже изгнанная в подсознание, «обиженная» (цветаевское: «обижен, значит, прав!» — даже если в роли обиженных — черти и вурдалаки) и она найдет место и время, чтобы кинуться нам в спину. (Эта ситуация описана у меня в романе «Дорога цвета собаки», да простят мне читатели очередную нескромность). Поэтому давайте не застопоривать себе движение просвещенческими мифами. «Ветхий» Адам должен быть четко осознан. И такое явление как Марина Цветаева может оказать в этом неоценимую услугу. Надо вдумываться в то, что она пытается до нас донести — вдумываться критично, что далеко не значит скептично. Как это ни странно, но в сложный, противоречивый (гораздо менее, чем мы думаем) мир Марины Цветаевой надо входить, доверившись всему ясному и простому в нас — «как вслушиваются в исток, вглядываются в устье», настроившись на то, что идет поверх слов и поступков. Именно такой подстройки жаждала и никогда не получала от людей Цветаева. Без которой и хлеб — не хлеб, и вода — не вода.

Вот и Анна Кирьянова, занявшаяся так вплотную изучением Черной Собаки Марины Цветаевой, так и не поняла, где же ее Черная собака. Она пытается реконструировать ее из разрозненных слов и поступков, оставляя за порогом внимания запредельно-чистый поток вибраций.

Бессознательную тягу Цветаевой к людям, которые умерли или умрут молодыми, Кирьянова подметила точно и — тут же поставила ей в вину: даже тягу к несчастной умершей девочке Наденьке Иловайской, о горячем чувстве к которой Цветаева поведала в своем пронзительном «Доме у Старого Пимена», где один за другим умирают дети — Атланты, погребенные мертвой землей дедушки Илловойского, которую тот взвалил им на плечи. И даже тягу к несчастным, всеми проклятым чертям, словно и впрямь забыла, как все мы глубоко несчастны, — и в первую очередь «счастливые». Что все мы гости и стирая свою память до имманентности, превращаемся в «пауков в банке», о чем протяжно, протяженно во времени пела запредельная Янка Дягилева.

И в итоге, Киреева делает прямо противоположный действительности вывод о том, будто живейшая Цветаева изначально стремилась к смерти (В чем, кстати, обвиняли и живейшую Янку). Не видя (можно видеть цельным чувством, а можно — разрозненно, раскладывая все по эмоциям), не угадывая, что центр личности Цветаевой, ее «точка сборки» совсем в другом месте (и времени).

Кирьянова не подозревает, что имеет дело не с Черной собакой Цветаевой, а с ее двойником, существующим не где-либо, а в ее собственном сознании (подсознании?). Настоящая же Черная собака поэта пребывает на несколько уровней выше (или ниже — тут можно сколько угодно играть словами).

Причем, эта Собака, как и ее двойники, могут сослужить всем прекрасную службу.

Ведь Цветаева так хотела, чтобы мы выверяли вместе с ней, в чем-то отталкиваясь от нее, собственный путь. Она бы с удовольствием уступила нам инициативу и внимательно выслушала. Но, к сожалению, большинство окружавших ее в жизни людей, как и Петя Юркевич, лишь старательно пытались ответить впопад.

Поэзию Цветаевой можно читать как открытую книгу бытия, потому что бытие было перед ней — как открытая Книга.

«Быть собой, всей собой, как пишет Цветаева неоднократно, пусть даже остаться непонятой в желаниях, реакциях и поступках; быть непонятой, но не осужденной любящим человеком — вот идеал отношений», — пишет И. Кудрова в замечательной статье «Поговорим о странностях любви: Марина Цветаева».

«Жестокая правда без любви есть ложь», — хочется сказать мне комментаторам, отслеживающим Черную собаку Цветаевой. Это тоже святоотеческая истина.

И мне хочется верить — я не сомневаюсь в этом! — что поэты такой нравственной высоты не попадают «Домой — в огнь-синь» (не тот этот дом, да и полночь не та), куда, по мнению Анны Кирьяновой, якобы стремилась после детских диалогов с Мышатым («Параллельно пути черный спутник летит», — пела поэтесса Янка Дягилева), подмененная им Марина Цветаева и где пребывают души тех, кто наложил на себя руки...

Они все-таки омываются в водах Китежа.

Потому что Господь — не бухгалтер.

Знаю, умру на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух — не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
Чтоб на вечерней зоре и на утренней сразу!
Пляшущим шагом прошла по земле! — Неба дочь!
С полным передником роз! — Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на зоре! — Ястребиную ночь
Бог не пошлет по мою лебединую душу!

«Милый серый дог моего детства — Мышатый! Ты не сделал мне зла. Если ты, по Писанию, и “отец лжи”, то меня ты научил — правде сущности и прямоте спины. Та прямая линия непреклонности, живущая у меня в хребте, — живая линия твоей дого-бабье-фараоновой посадки.

Ты обогатил мое детство на всю тайну, на все испытание верности, и, больше, на весь тот мир, ибо без тебя бы я не знала, что он — есть.

Тебе я обязана своей несосвятимой гордыней, несшей меня над жизнью выше, чем ты над рекою: le divin orgueil [Божественной гордыней (фр.).] — словом и делом его.

Тебе, кроме столького, я еще обязана бесстрашием своего подхода к собакам (да, да, и к самым кровокипящим догам!) и к людям, ибо после тебя — каких еще собак и людей бояться?
< ...>
Это ты разбивал каждую мою счастливую любовь, разъедая ее оценкой и добивая гордыней, ибо ты решил меня поэтом, а не любимой женщиной.
< ...>
Догом тебя вижу, голубчик, то есть собачьим богом.
< ...>
Грозный дог моего детства — Мышатый! Ты один, у тебя нет церквей, тебе не служат вкупе. Твоим именем не освящают ни плотского, ни корыстного союза. Твое изображение не висит в залах суда, где равнодушие судит страсть, сытость — голод, здоровье — болезнь: все то же равнодушие — все виды страсти, все та же сытость — все виды голода, все то же здоровье — все виды болезни, все то же благополучие — все виды беды.

Тебя не целуют на кресте насильственной присяги и лжесвидетельства. Тобой, во образе распятого, не зажимает рта убиваемому государством его слуга и соубийца — священник. Тобой не благословляются бои и бойни. Ты в присутственных местах — не присутствуешь.

Ни в церквах, ни в судах, ни в школах, ни в казармах, ни в тюрьмах, — там, где право — тебя нет, там, где много — тебя нет.

Нет тебя и на пресловутых “черных мессах”, этих привилегированных массовках, где люди совершают глупости — любить тебя вкупе, тебя, которого первая и последняя честь — одиночество.

Если искать тебя, то только по одиночным камерам Бунта и чердакам Лирической Поэзии.
Тобой, который есть — зло, общество не злоупотребило». («Черт»).

Был ли Мышатый прообразом того самого Соглядатая, о котором я упомянула в начале этой части статьи? Вопрос остается открытым. Мне представляется вероятной и другая версия.

М. Цветаева была Ребенком и Подростком, живущим в десакрализованную эпоху, где даже в храмах из-за их фарисейской омертвелости нет места для Христа, и он вынужден являться к чистым душою детям в образе чёрта, дабы не быть принятым за сахарно-уродливый образ, которым защищаются от него фарисеи. Неся не мир, но мяч, разъединяющий с фарисеем, и в первую очередь — со своим внутренним фарисеем: «Первая же примета его любимцев — полная разобщенность, отродясь и отвсюду выключенность». («Черт»). Он вынужден являться в образе дога, символической Черной Собаки, сквозь которую избранник должен пройти с факелом глубинной любви, пронизать, подчинить ее всю — Любовью, как подчиняет страшного Змия копьем Любви святой Георгий — любимый персонаж поэзии Цветаевой, в честь которого она назвала сына, — после чего Змий послушно ложится у его ног, а после следует за ним, как на веревочке, а Черная Собака сбрасывает свою Черную шкурку и обнажает — ослепительный Свет.
Совсем не удивительно, что живя в таком десакрализованном мире и не смея довериться тому же святоотеческому учению, которое земная церковь обычно преподносит в тоталитарном дискурсе, Ребенок и Подросток может быть уязвим даже если ему уже не 8 лет и он великий Поэт. Более того, поэтому и уязвим, что Поэт. Ибо Поэт, по определению, — Ребенок и Подросток. А.Дугин пишет: «Подростковый романтизм, экстремизм, радикализм, вера в добро, мечты о «прекрасном принце/прекрасной даме» — все это не наивные штампы, навеянные лицемерной культурой, и не переходные отклонения. Нет. Как раз наоборот. Именно подростки несут в себе тайную память о том, как должны обстоять дела в нормальном традиционном обществе, где взрослая жизнь не скучная рутина механических прагматиков и социальных винтиков (пропитанных истерическим нарциссизмом и нервным цинизмом), как у нас, а непрерывное соучастие в мифе, в сказочной реальности, в ткани единого непрерывного круговорота. В этом круговороте грань между нормальным и сверхнормальным, обычным и чудесным, человеческим и божественным стерта, размыта. Окна и двери, распахнутые в первой инициации, остаются открытыми до конца земного пути. В них входят и выходят сущности тонкого плана, оживляя природу, быт, секс, войну, труд, отдых, страдания и радость. В этом и есть смысл сакрального. Именно оно утеряно в нашей нормальной жизни. И именно оно говорит о себе в тяжелой и страшной статистике детских и подростковых самоубийств.

Архаические пласты души подсказывают внимательному подростку: ты подходишь к черте, где природное существование прекратится. Эта грань — смерть. За ней — новая жизнь. Коварный разум может нашептывать любые доводы — неудачная любовь, проблемы в семье, неуверенность в себе и т.д. Но не разум, а дух говорит в юношах и девушках, выбравших столь страшный путь. Именно неосознанная, потаенная воля к сакральному, запечатленная в душе, знак особого духовного достоинства человека как вида, толкает на суицид. Так как сегодня нет инициатических ритуалов и сакральных обрядов, то вместо инициатической смерти и сакральной драмы, все кончается смертью тотальной, за которой, увы, не следует нового рождения. Но и в этом случае, поступающий так более прав, чем поступающий иначе. Признать мир взрослых таким, как он есть сегодня, не бросить ему вызов, не восстать против десакрализованного общества, где нет места ни мифу, ни Священному, может только существо духовно ущербное, еще более мертвое, чем трупы несчастных самоубийц». (А. Дугин. Русская Вещь)

«Милостливое сердце — это «горение сердца о всякой твари», о человеках, о птицах, о животных, о бесах — словом, о всяком создании... От постоянного терпения сердце соделалось сердцем младенца» (Св. Исаак Сирский)

«Благодать так действует и умирает все силы и сердце, что душа, от великой радости (милости), уподобляется незлобивому младенцу, и человек не осуждает уже ни эллина, ни иудея, ни грешника, ни мирянина, но на всех чистым оком взирает внутренний человек и радуется о целом мире...» (Св. Макарий Великий)

Через весь 20-ый век с его революциями, войнами, борьбой религиозных, политических и художественных течений Марина Цветаева пронесла и предъявила нам — Душу.

«Умейте только брать, выбирать».

---------
г. Тбилиси
2010г

Использованная литература

1. М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах.
2. М. Цветаева. Неизданное. Сводные тетради.
3. Г. Горчаков. Психоанализ М. Цветаевой.
4. С. Карлинский. Марина Цветаева.
5. А. Кирьянова. Две души Марины Цветаевой.
6. И. Кудрова. Поговорим о странностях любви: Марина Цветаева.
7. Н. Доля. Анализ «Письма к Амазонке» М. Цветаевой
8. Н. Доля. «Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою...»
9. А. Саакянц. Вст. статья и комментарии в кн.: М. Цветаева: Стихотворения и поэмы.
10. В. Швейцер. Быт и бытие Марины Цветаевой.
11. Ариадна Эфрон. Страницы воспоминаний.